



«Автор беспрестанно отсылает к классике — и одновременно поднимает ее на вилы».

Елена ВАСИЛЬЕВА, «Прочтение»

ТОСКА ПО ОКРАИНАМ

АНАСТАСИЯ СОПИКОВА

18+

Анастасия Сергеевна Сопикова

Тоска по окраинам

Серия «Роман поколения»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67689623

Тоска по окраинам : [рассказы] / Анастасия Сопикова: АСТ; Москва;

2022

ISBN 978-5-17-148717-1

Аннотация

Пять историй из жизни девочки-девушки-женщины. «И никакого розового детства» в нищей провинции начала нулевых, подростковые опыты безответной любви и любви без ответа, переезд в столицу, первая работа и первое замужество... Главная героиня ребенком мечтает, как однажды вырастет и станет счастливой, – но взросление оборачивается разочарованием, ожидания оказываются далекими от реальности, а ненавистная прежде окраина, родной дом и детство превращаются в единственное место, по которому только и можно скучать.

В книге присутствует нецензурная брань!

Содержание

Не успеешь оглянуться	5
Золотая лихорадка	31
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Анастасия Сопикова

Тоска по окраинам

Издательство благодарит Леонида Заболотина
за фотографию автора,
использованную в оформлении книги.



РЕДАКЦИЯ **ИЗДАТЕЛЬСТВО**
ЕЛЕНА **АСТ**
ШУБИНОЙ **МОСКВА**

© Сопикова А.С.

© ООО «Издательство АСТ»

Не успеешь оглянуться

В пятницу меня отправляют *туда*.

Туда – это темное, салатно-зеленое пространство, пропахшее обойным клеем, место, в котором замирает время, и стрелка груши-часов в коридоре никуда не спешит.

Я ненавижу пятницы.

Из грязного окна сочится тягучая серость солнца в зените, тихо-тихо работает телевизор – и там, внутри него, тоже бесконечная тоска. Сменяют друг друга оранжевые заставки, пластиковые людижимают руки, передают фальшивые зеленые банкноты, со скучающим видом убивают друг друга из черных матовых пистолетов. Это всё ненастоящее. Это всё для тех, кто уже *за* жизнью. Как дед, как бабушка.

А я – еще только *перед* ней.

Я ложусь на ковер и рассматриваю его узоры, кляксы, в которых мне чудятся красноватые театральные рожи с черным ртом. Считаю плитки потолка – хорошо бы наступить на каждую из них ногами, послушать хруст пенопласта. Стыки обоев с рваными краями. Мутные тетки с блестящими влажными зубами рекламируют наручные часы. Зачем часы? Лакированный шкаф, скрипучие дверцы.

Все спят. Шуметь нельзя.

И мать не звонит.

Никто не звонит. Никто никого не будит.

Никого не будет.

Все спят.

* * *

Родители – неплохие люди. В том, что они поместили меня *сюда*, их вины нет. Если это происходит в будние дни. А сегодня – сегодня они просто не ведают, что творят.

Еще раз: я ненавижу пятницы. Во-первых, в пятницу я родилась – слава богу, что не в пятницу тринадцатого. А во-вторых... Как бы объяснить это «во-вторых»?

Во-вторых, в пятницу *она* ходит «на танцы». «Ой, какая молодец твоя мама! А какие танцы? Бальные? Румба?»

Я ожесточенно молчу.

По пятницам мать раскрывает верхнюю секцию шкафа, где лежат *те самые* вещи. Это значит, что час настал.

У матери три вида одежды: «надел ды пошел» – раз. За этот можно не бояться: это на работу, в магазин, на улицу. «Приличный» – два. Тоже безопасно. «На танцы» – три. Этот – самый ужасный. Когда я вырасту, то спалю все эти шмотки – все эти кожаные юбки на ремне, сабо, полупрозрачные кофты в рюшах, красные шляпы, обтягивающие сиреневые джинсы.

Джинсы эти она притащила на прошлой неделе после того, как всё утро провела «на базаре».

– Ну, как я? – мать крутилась перед нами с отцом, откля-

чивая квадрат задницы, надувала губы, стягивая такую же сиреневую джинсовую куртку на груди. Мать была очень хороша. Сексапил.

Я уткнулась отцу в плечо и захныкала.

– Ты чего? Чего ты, чего? – испуганно закудаhtала мать.

Объяснить, чего я – про «танцы» и вообще, – было слишком. . . невозможно, невозможно это было. Не полагалось, открывало суть моих тревог, моего совсем не детского ума, который «впитывал, как губка» – это часто повторяла мать, сама не понимая, о чем говорит.

– Ты, наверное, тоже хочешь новые наряды, да? Да? Ну, успокойся, – она опустилась на колени у старого дивана с подушками-буханками. – Завтра с тобой сходим на рынок. Хочешь? Купим тебе штанишки и какую-нибудь маечку. . .

И мы пошли на рынок, продираясь между рядами, накрытыми толстым полиэтиленом от дождя. Так у меня появились джинсы с застежкой-клубничкой. После мать отвела меня в кафе с тканевыми зонтиками – тут же, на рынке. Нам выдали две картонки с коричневым шашлыком на шпажках и горкой сизого лука. Я сбросила лук в помойку, налила на край картонки кетчуп – огромная красная бутылка стояла на каждом пластиковом столе. Запивали всё шипучим приторным «Спрайтом». Это была мать номер один – добрая, великодушная, щедрая.

А есть еще мать номер два. Мать номер два взрывается без повода, орет с гаркающим свистом, лупит руками по мебели

и рвет зеленые школьные тетрадки: «*Тупиздень!* В кого ты такая *тупиздень?*».

И еще эта мать номер два ходит «на танцы». В пятницу вечером.

– Одевайся живее. Цигель-цигель!

Я провожаю взглядом стопки своих книжек – возьму вот эту, про иголку в водопроводе, – складываю в специальный пакет на кнопке белую куклу с оранжевыми волосами, единственного Кена с полыми штанинами вместо ног и третью, разлучницу, – смуглую тонкую барби с каштановой косой и гнущимися в коленях и локтях ногами-руками.

Мать застегивает на мне зеленую куртку космонавта, в молнию обязательно попадает кожа на подбородке, затягивает шарф – душит, под узел всё равно задувает ледяной осенний ветер. «Ну что ты вечно недовольная? В каприз обвалялась...»

Хлопает деревянная дверь, на три оборота закрывается железная. Мы выходим во двор.

* * *

Дома тоска не та, что *там*. Дома тоски не существует. Есть книжки, есть всякие другие занятия. Играть в школу – царапать батарейкой по крышке «бара» (секция в стенке с откидной крышкой, если навалиться – отломится; уже отломилась), вроде как мелом по доске. Можно и просто играть

– в куклы, в хрустальный замок из серванта с лебедями-салфетницами. Можно писать сказку про мышь, про лисенка, который ищет дом, – это моя игрушка, набитая маленькими шуршащими шариками. Придумывать досье на одноклассников – подсмотрела в «Ералаше» и забрала у отца синюю папку со страшной надписью «Акты ремонта из Москвы». Внутри – просто бумажки, ни дырокола, ни хрустящих файлов у меня нет. Когда вырасту, будут.

Дома не живет тоска – ей негде ночевать в нашей двенадцатиметровке. Такие дома, как наш, называются ЗГТ – здание гостиничного типа, – и каждый год нам обещают, что тут вот-вот и вправду будет гостиница, а нас расселят по уютным квартиркам в новых домах. На каждом этаже ЗГТ по десять таких комнат с крохотными предбанниками, где стоят одинаковые электрические плитки с одной конфоркой и одинаковые холодильники «Полюс». Еще к комнате примыкает крохотный туалет и кладовка. Умельцы вроде моего папы переделывают этот один метр кладовки в душ, чуть менее смекалистые моются прямо над унитазом, поливая себя из кружки.

На диване спят родители, и он кажется мне огромным; между одеял можно валандаться, воображая, что плаваешь в море. Мое место – в раскладном кресле, за которое утыкают мутные банки с соленьями.

Однажды ночью будет потоп, наводнение, цунами до самого нашего пятого этажа. И все мы останемся плавать на

своих кроватях, потерявшись в бескрайнем море. У меня хотя бы будут банки. Я смогу кого-нибудь спасти – может, Женю Дохорова из нашего класса. А родители? Как?

А еще елка. Возле дома, нашего сто-писят-пять-корпус-один, растут гигантские ели, выше крыши. И если в каждой квартире просверлить дырку в полу, и в крыше сделать дырку, и деревья засунуть внутрь дома, то у всех всегда будет по куску. Настоящая ель – всегда, круглый год.

– Она полквартиры займет, – усмехается мама. – Вот вырастешь – сделаешь. И дырки в полах, и елки, и что хочешь.

– А когда я вырасту? – помолчав, спрашиваю у нее, заранее зная ответ.

– Скоро. Не успеешь оглянуться.

Я паясничала, оборачивалась назад, на сто-писят-пять-корпус-один и елки, оборачивалась так резко, что свистело в стянутых шапкой ушах, даже пробовала идти задом. И еще, и еще, и снова.

– Что-то не получается, мам.

– Дурочка, – вздыхает она. – Это просто так говорят.

* * *

Мне не было так скучно еще два года назад. Бесконечный полдень, бесконечная спячка после обеда, когда ты хочешь жизни, а тебе говорят подождать – сами укладываются и дрыхнут, дрыхнут... Есть ли матное слово для «дрых-

нуть»?

Обещают не спать, а спят.

У отца я видела книжку со страшным пауком: «Полдень. Двадцать первый век». «А сейчас какой, пап?» «Двадцать первый». Это, может, многое объясняет. В фильмах, других, которые показывают вечером, в старых фильмах, – там люди живут иначе. Они не спят.

Полдень, вечный полдень. Как летом, когда стоит глухая мертвая тишина, и слышно только, как деревья вверху шелестят – уныло, *вечно*, как три сотни лет до этого. А потом приходит зима – и другая тоска. Ветер противно задувает под узелок шарфа, шарф намокает возле рта и тут же холодеет, противно. Вот тебе и зима. Лето, может, даже и лучше. Летом мать почти не ходит «на танцы»...

Спрашиваете: почему же я не люблю танцы? Что я имею против?

Вы, стало быть, не поняли ничего.

«Танцы» – это не просто так. Танцы стоят рядом со словом «измена». Я знаю, что оно означает. Им пропитан воздух: в мыльных операх по телевизору, в мягких книжках, которые матери дарит тетка по отцу, наконец, в самих скандалах матери с отцом – когда она накидывается на него с кулаками, а он, пытаясь утихомирить ее, хватается за запястья и теснит из комнаты в коридор.

Мои куклы часто играют в измену. Барби номер раз – рыхловатая, дешевая, с рыжими жесткими волосами – выхо-

дит за единственного Кена с джинсовыми штанами, в которых нет ног. На горизонте появляется вторая Барби, поновее, Кен ложится на нее сверху, не снимая штанов-ног, и трется вверх-вниз, иногда волнообразно спуская голову до стоячей пластиковой груди. Рыжая Барби влетает в дом на диване и устраивает скандал: я беру ее в одну руку, новую пассию Кена – в другую, и бью их друг о друга крест-накрест, пока из пазов не вылетают кукольные руки и не летят в разные стороны мягкие головы. Вероломный Кен садится в машину-тапок и уезжает в игрушечный закат.

Я не знаю, что такое «танцы». Но я знаю, что такое «измена». И знаю, шестым детским чувством, детской «губкой», которая впитывает все разговоры – впитывает и раскладывает их по кричащей сетке журнала «СПИД-Инфо», – знаю, что мать изменяет отцу. Я знаю и вижу ее ухажеров (слишком сильное слово для сальных, заплывших, неопрятных мужчин, с которыми она крутится там, «на танцах»).

Изменяя отцу, она будто бы изменяет и мне. Я чувствую щиплющую, противную горечь, липкую тошноту всякий раз, когда она собирается «на танцы» – запикивает белую веснушчатую грудь в растянутый лифчик на косточках, натягивает капроновые колготки, раскатывая с носка, крутится в плиссированной кожаной юбке, подчесывает волосы и – главное – бесконечно дует тонкие губы, раскрашенные жирной дешевой помадой. Если мать уходит в простых брюках и свитере, мне спокойнее, – и я научилась кривить притворные

гримасы в ответ на ее «Ну как?», если считаю наряд особенно опасным, если хочу, чтоб она переделалась. Но это редко помогает, почти никогда.

Я должна сказать еще и про тетю Лиду.

Если бы пятница была человеком, она стала бы тетей Лидой – тетей Гнидой, как я тихо, сдавленным шепотом, называю ее. Я ненавижу тетю Гниду так, как я ненавижу пятницу, даже сильнее. У нее некрасивое белесое лицо с длинным носом и маленькими поросычьими глазками, на голове – «гуля» из жидких волос, на необъятном вислом заду – протертые лосины. Она никогда не красится и пахнет смесью детского мыла и кошачьей ссанины. Зато носит трусы со шнурком между ягодиц. Слово «сексапильный» – от нее.

Каждый раз у нас в гостях она просит поставить «кричащую» песню – и каждый раз с бульканьем подпевает: «Що-магооон!». Мать поправляет не лучше, «Шоумастгоон», при этом строит надменное лицо, актриса. Тетя Лида пьет чай с шестью кусками сахара и рассуждает о том, как у очередного «хахаля» съехал куда-то резиновый «чехол» прямо во время «этого самого». Про губку тетя Лида не слышала ничего.

Мать заговорщически подмигивает и отправляет меня на улицу, обещая тете Лиде показать «одну кассету». И кассету я тоже нашла: сразу за титрами «Грязных танцев» сквозь помехи пробивались два мокрых от пота тела, смуглое и совсем белое, мягкое. Они дергались на огромной кровати, тетка смешно задирала и разводила в стороны ноги. Вот она

перевернулась и встала на колени перед камерой – между ее рыхлых бедер, перетянутых чулками, виднелся треугольник рыжеватых волос, как на смешных картинках в дедовских желтых газетах. Волосы ее намокли от пота, глаза – мутные, зрачки будто плавали; она тяжело дышала полуоткрытым ртом. Сзади опять появился смуглый, она безвольно нагнулась, растопыриваясь перед ним. Я промотала пленку на начало и спрятала в тайник.

Про измену я знала всё. И я не понимала – зачем? Зачем «танцы», зачем дядя Валера, у которого в усах застревают виноградные кости? Зачем нужно бросать меня каждую пятницу, помещать в пространство тоски и даже не думать, как я там маринуюсь, схожу с ума, подсчитывая секунды: раздваторичетырепятиминутастостоднастодвестотри? Неужели не тоскливо ей так, как тоскливо мне? Неужели никому больше не больно?

* * *

Лень полудня *тут* достигает пика к закату. Если все храпят и вечером, то становится еще хуже. Я не могу включить свет. Телевизор, на прощание плюмкнув, без пульта вырубается. Я не знаю, где пульт, у кого-то в кровати. Становится так тихо, что я слышу тиканье часов-груши и капанье крана на кухне: тук... тук... тук. Говорят, нельзя спать на закате. Но едва начинается вечер – время оживает, закручивается

вновь. Просыпается бабушка – тяжело усаживается на кровати, потирает грудь, засовывает ноги в клетчатые тапки. Она шаркает подошвами до кухни, закуривает серый «Беломор», ставит чайник. Это уже хорошо. Значит, как только она докурит, на кухню можно и мне.

Я забираюсь на табуретку и рассматриваю столешницу тараканьего цвета с прожилками; под бортики наметает грязь, которую можно выскабливать пилкой – она превращается в тонкую, закручивающуюся спиралькой колбаску, серые ошметки сыплются на пол.

Бабушка спрашивает, буду ли я «йисть»; есть – это хорошо, есть – это не спать. Открываются банки уксусных жидких помидоров, бабушка плюхает один мне в тарелку. Жареная картошка с черными уголками, котлета в масле. В котлетах мне больше всего нравится звук – когда они жарятся и шкворчат, ровно такой же звук, как «а-а-аплодисменты» в бабушкином любимом «Поле чудес». Много-много хлопков в ладоши.

Из этого и состоит вечерняя мелодия. Крутится барабан под цыкающую музыку в повторе «Поля чудес». Шкворчат-аплодируют котлеты с чесночным запахом. Шлепаются о линолеум мой розовый мяч, и дед кричит: «А ну тише!». Помидоры... Осенью всюду помидоры: в кислых лохматых закрутках, в мясорубке, где из них делают густую аджику с белыми прожилками хрена, выложены на газету на балконе, посолены сверху.

Почему-то вечером телевизор тоже переходит на другую волну, шумную и интересную. Вечером опять разрешаются игры: подкидной «дурак» на троих с бабкой и дедом, бесконечный «пьяница» (я кошусь на сизый, с прожилками сосудов нос деда), шашки и непонятные шахматы. Кроссворды. Сканворды.

Иногда в это время возвращается тетя Лена, мамина сестра, из очередных бесконечных гостей, чтобы собраться на другое свидание. В отличие от матери, тетка красит всё лицо, а не только губы, а косметику хранит в хрустящей коробке из-под конфет «Раффаэлло», подаренных очередным ухажером. В минуты особого расположения она разрешает мне «пошуршать»: я достаю и раскладываю на столе тушь в синем тюбике, пудру «Мах Factor», красный обгрызенный (вину повесили на меня) карандаш для губ, лак для ногтей с маленькими переливчатыми блестками.

Звонит отец. «Как?» «Нормально. Хочу домой». «Ничего, завтра заберу». Кладет трубку. Я слезаю с тумбы в прихожей, мне некому больше звонить. Но иногда звонят тетке – и она час *шушукает* с кем-то, прикрывая рот рукой. Иногда – деду. Он осторожно переступает ногами по коридору, высоко поднимает колени – учился заново ходить после инсульта, берет пахнущую коллективными слюнями белую трубку. «Здорово! Привет-привет от старых штиблет». Я рассматриваю его письма, деду приходит целый ворох бумаги. «Закажите талисман от Юрия Лонго!», «Только сего-

дня – специальный розыгрыш для пенсионеров!», «Найдите Иегову с Башней Смотрителя». По ночам дед не спит, а только дремлет под монотонные звуки перестрелок по телевизору, читает одну и ту же книгу про хана Батыя и снова закрывает глаза, клюет носом, не выключая фильм.

Когда бабушка уже вздыхает во сне на соседней койке, я всё еще слушаю хрип ее радио. «Передаем вальс Иоганна Штрауса» – я думаю о человеке-страусе, разглядываю бабушкино платье, висящее на гвоздике на двери. Ровно в двенадцать радио тихо-тихо играет гимн и умирает до шести утра. Но я не сплю. Я думаю про мать, снова и снова. Про мать, которая не звонит. Почему не звонит?

Меня пронизывает ужасная догадка: мать, быть может, уже мертва – а отец просто скрыл это от меня. Или сам еще не знает. Думает, что она ест изюм дяди Валеры. Изюм.

В последнее время я думаю об этом больше, чем об измене. Маму могут изнасиловать в такси. Вывезти в поле, как в газете писали, взять в рабство. Маму могут убить в грязном болоте, и мама больше не вернется домой. Никогда. Никогда. Утонет в черной слякотной жиже, хватая ртом воздух и захлебываясь. Маленькую, хрупенькую маму легко переломить надвое, и удушить легко, и вспороть горло с маленькой родинкой, так, что хлынет кровь и откинется назад голова. Найдется много желающих – на ее «танцах», на ее «грязных танцах», где сальные уродцы ищут себе хохочущих жертв.

Мать – дура. Мать сядет к кому угодно в машину, и по-

едет куда угодно. Мать навсегда останется в лесу – страшном, черном, величественном, такой видишь иногда из окна автобуса – и вздрагиваешь, совсем в глуши, выхода нет ни с какой из сторон. От похоти своей, по дурости мать поедет туда. Там черная яма с жирной землей, слякоть, вечная неподъемная тишь. Насильника, убийцу никогда не найдут. Мать не вернется домой. Я останусь одна. А всё потому, что не могу ее остановить. Никогда не могла.

– Никуда ты не пойдешь! – орала я, топая ногами, когда доводила себя до отчаяния, сама возгоняла до дикой истерики. Последний шанс остановить, последний! Последняя возможность спасти ее – тупую, непутевую, слишком наивную и слабую.

– Слишком громко ты орешь! – в рифму верещала мать. – Нет, это невозможно, невозможно...

Хлопала входная дверь, улюлюкал лифт – на седьмой этаж *туда* ездил страшный грохочущий лифт с желтой лампочкой. Всё было кончено. Мать никогда не возвращалась от угрызений совести. И помириться, «сжигая мосты», не возвращалась тоже – за ней ходил отец, заставляя меня извиняться. «В кого она такая жестокая? – спрашивала мать. – Я такой не была».

Бабушка раскатисто захрапела, откинувшись на спину и настезь открыв черный запавший рот. Я жмурюсь и отворачиваюсь к стенке. Прямо перед носом оказывается стык обоев, уже отходящий, который я подковыриваю всякий раз,

ночуя там.

Хочется подумать о чем-нибудь другом. Вечером я читала книжку про иглу в раковине – она уплыла в трубу и там, в темноте, подружилась с яичной скорлупой и куском мыла. Вместе они путешествовали и даже искали королевство, золотой дворец повелителя – раз им уже не выбраться из черного водостока. Найдут ли?

...Как же расти без нее? Отец, конечно, сопьется... И никто не будет таскать из магазина, где она работает с теткой, пачки макарон и мармеладных рыбин в сахаре. В нашем классе нет никого без матери, никого не воспитывают отцы. Про таких говорят шепотом, что они попадают в интернат, который стоит прямо за сто-пизят-пять-дробь-один, справа от школы.

Мать иногда мучает меня вопросами: «А что было бы, если б ты узнала, что мы тебе неродные? А что было бы, если бы папа нашел себе другую тетю? Она, наверное, была бы добрее мамы, правда? Всё бы тебе разрешала...» И я клевала на эту горькую удочку, и захлебывалась в плаче, и просила прощения – незнамо за что. Конечно, если бы мама была не моей родной мамой, я всё равно бы ее любила. И ни за что не стала бы искать настоящую – какую-нибудь простую щекастую, которая подпирает рот рукой и грустит обо мне. Или строгую тетю, которая заставляла бы мыть посуду и соблюдать режим. Зачем она мне?

Стала бы та, настоящая, уходить в пятницу? «Если у те-

бя ребенок, занимайся ребенком...» Так говорит бабка. Или что – мама подкинула и эту идею, – если б настоящая, родная мать была богатой? Покупала бы мне любых барби и «Маленькую фею». Что тогда? Сбежала бы я от них с отцом?

Что ты, конечно, нет!

Я люблю мать больной, саднящей любовью, и хотела бы, чтобы она любила меня не меньше. Увы, она предпочитает разделять себя между мной, усатым дядей Валерой, сальными мужиками с «танцев», тетей Гнидой. Не уверена, что мне достается больше, чем им.

«Ну что ж, – разводит мать руками, притворно охая, – наверное, я плохая. Плохая, да? Но родителей не выбирают, знаешь ли. Придется тебе потерпеть», – качает головой.

С треском оторвался кусок салатových обоев. Показалась штукатуренная стена. Я выкидываю обрывок в щель за кроватью, поворачиваюсь к черному окну, наполовину закрытому балконной перегородкой. Где-то там мать. Что-то она делает? Думает ли про меня? Вернется ли завтра? Послезавтра?

Или, может, никогда – пока я лежу тут, там происходит...

Мысли снова заворачиваются по кругу, всегда по кругу, я судорожно пытаюсь придумать план, как остановить это всё, как заставить ее быть нормальной, – но вместо этого падаю в тревожный душный сон (*там* никто никогда не проветривает комнаты) и вижу что-то совсем другое, что-то про иголку, невесть как застрявшую в дырке грязной раковины. Во сне,

в самой его глубине, во мне стучит мое заклинание, моя молитва.

Хочу домой. Хочу домой. Хочу домой.

* * *

Иногда отец приходит за мной в воскресенье утром – и долго пьет чай на кухне, разглядывая старые газеты. Иногда у него свои дела, и приходится ждать до вечера. Я часто не выдерживаю, прошу набрать его – с десятой попытки бабка неохотно встает, плетется к телефону, тыкает продавленные кнопки. «Пап, ну ты скоро?» Отец сердится, но приходит быстрее. Если, конечно, может.

Мать не звонит.

Третий день – самый невыносимый. Тревога притупляется, отступают черные убийственные картинки, которые крутятся перед глазами всю пятницу и субботу. Гнусавый канал крутит однообразные мультики, вечную жвачку. Растрепанные куклы успели надоесть еще дома – в этот раз я даже не доставала их из пластикового толстого пакета на кнопке. Подарок тети Лены; красивый пакет.

Купание миновало в шумную пятницу, купанием бабка хотела затопить мои слёзы по матери, которая в этот раз просто переступила мои ноги – я лежала животом на диване и умоляла ее остаться, – и скрылась за черной, обитой пухлым дерматином дверью. Голубая ванная, узкий туалет, длинный

коридор с оранжевыми прожилками на линолеуме, от часов-груши до черной дерматиновой двери. На двери – закрытый золотой монеткой глазок. Раньше мне казалось, что слово «чепуха» – оно про эту монетку. Чепуха. Чепухой закрывают обзор.

Я тыкаюсь во все двери по очереди. Кухня – пустая, только дым папиросы еще не выветрился. Зал – дремлющий на раскладном диване вечный дед, фиолетовая стенка, старый «Зингер» с черной кованой вязью внизу, с красивым и страшным крылом. Бабушкина зеленая комната – маленький телевизор, несмешные шутки и гогот страшных гримированных теток. Теткина комната – черно-белые фотографии матери в детстве, еще один колючий диван, лакированный шкаф. Тетки нет дома, в одеяле валяется ее черный учебник «Основы товароведения». Я закрываю за собой дверь, петли тихонько чирикают.

Из теткиной комнаты видно улицу. Когда отец пойдет, его можно будет разглядеть еще от нового дома-свечки с красной надписью «2000» под самой крышей. Двадцать первый век. Катается туда-сюда лифт, ухает «у-у-у-у-у-ух!», выплевывает пассажиров с грохотом. Этажом ниже. Где-то совсем далеко. Теперь замолчал.

Я уже сложила все вещи, дочитала книжку и засунула в пакет тоже, забрала зубную щетку-дракошу из ванной. Придет отец? Не придет? Скоро полдень, полдень двадцать первый век. Бесконечный сон. Вибрирующий от храпа воздух.

Подсвеченная закатом паутина и пыль.

Не буду спать днем, когда вырасту, никогда не буду. Никогда не буду смотреть мертвый телевизор с расплюснутыми желтыми мордами, которые тебя не видят. Никогда не пойду «на танцы». Никогда не заведу маленьких несчастных детей.

Я толкаю бабушку в плечо, прошу набрать отца снова. «Господи, да дай ты мне *покою!*» Но всё равно идет и тыкает в кнопки: «Сереж, она опять!»

– Забери меня отсюда, – как можно убедительнее говорю я. – Забери, забери!

– Ладно, – недовольно протягивает отец. – Жди.

– Сколько?

– Не знаю... Полчаса.

Гудки-гудки, пик-пик-пик.

Я усаживаюсь на телефонной тумбе и начинаю гипнотизировать грушу настенных часов. Дома у нас другие, стоят на полке, маленькие, черные, с белой кнопкой наверху. Бьешь по ней ладошкой – раздается механический «блым», заключенная в часах тетка, запинаясь, отвечает: четырнадцать часов... двадцать... шесть... минут.

А груша с раздвоенной желтой головой – тикает. Надо только, чтобы короткая жирная стрелка дернулась на три – но она никогда не дергается резко, а приходит туда так, что никогда не заметишь.

Не успеешь оглянуться, да?

Дергается: ток-ток-ток, – только самая тонкая и длинная,

Метр. Синий портняжный метр.

* * *

Это было в сентябре, в желтом сказочном сентябре с каштанами. Я упросила остаться на продленку – пить сероватый кофейный напиток, есть бутерброд с подсохшей булкой, даже – и это главное – идти гулять в парк интерната, который намного больше и интереснее школьного двора. С нами пошел губастый Ваня, который собирал в карманы желуди («ими можно подманить кабана»), а потом показывал муравьиные дыры в земле. Муравьев он разрезал надвое осколком, найденным тут же, и клал черные точки на язык. «Попробуй», – сказал он. Я пробовала. Было кисло.

Мы качались на красных качелях вверх-вниз, Ваня рассказывал про интернат – говорят, когда здесь гуляет продленка, интернатские не высовываются, только наблюдают из окон. Завидуют нам. Ведь у них нет никого, совсем.

– Эй! – позвала учительница, похожая на маленький гриб в голубом берете. – Иди сюда, за тобой мама пришла!

Я помахала Ване ручкой и побежала по аллее – прямая широкая дорожка с редкими кочками, вся расчерченная «классиками» и рисованными солнцами. И настоящее тоже еще не померкло. И мама, мама стояла у ворот и улыбалась – хорошая сегодня мама, мама номер один.

– Ну что, гулена! Пойдем домой?

Я кивнула, попрощалась с учительницей и взяла маму за руку. Мы прошли двор с гнутыми качелями, пахнущую булками пекарню, пустырь за продуктовым павильоном, дурацкое кафе «Ратуша», на месте которого раньше был книжный магазин. Здесь мне однажды купили глянцевою книжечку, «Калифа-аиста» с цветными картинками. Мутабор! Мутабор – и ты уже взрослый, не успеешь оглянуться.

Вдруг, у самого подъезда, уже на ступеньках она остановилась, рассматривая меня.

– А где шарф? Где шарф твой?

Я опустила глаза, похлопала себя по груди. И правда, шарфа почему-то не было. Тепло, я и не заметила.

– Где он? Вспоминай, где оставила.

Я пожала плечами:

– Может быть, в интернате?

Мы проделали весь путь назад, уже в тревожном молчании: бывший книжный, пустырь, ржавые качели. Тихий час у интернатников кончился – во двор высыпали мальчики и девочки, заполонили «паучки» из труб, скамейки, фанерную большую машину в центре площадки.

Такие же, как и я. Совсем такие же.

Мать тащила меня за руку, и за нами тянулась тишина – интернатники замолкали, увидев чужих, чужое, желанное.

– Где вы тут были? Где играли?

Я показывала на качели – пустые, ничего. На скамейку под окнами. На машинку (мать засунула голову внутрь кабины).

Ничего, ничего, ничего.

– Пошли к школе, – скомандовала мать. Я почувствовала нутром, пустым желудком, что это уже мать номер два, и что лучше бы шарф нашелся, ох, лучше бы он нашелся...

Но учительница-грибок тоже ничего не видела. И в столовой его не было. И в кабинете у актового зала, пахнущего мастикой для полов. Ни на лестницах. Ни в гардеробе.

Мы обошли весь школьный двор, еще раз попрощались с группой продленного дня.

– Да вы не расстраивайтесь, – сказала учительница. – Найдется.

– Конечно, – кивнула мама. – Подумаешь!

От сердца было отлегло – но как только мы вышли за ворота, она грубо схватила меня за предплечье и развернула к себе.

– А с тобой, – шипение, – мы поговорим дома.

И рассвирепела. Ее ругань, ее речь всегда состоит из одних и тех же слов, она не выдумывает ничего нового, просто повторяет и складывает их, как получится. Она выхаркивала весь запас ругательств, скидывая плащ, закрывая дверь на три оборота, захлопывая деревянную. Я так и осталась стоять в коридоре.

– А ты чего встала-то? Разувайся!

Я стянула лакированные ботиночки на липучках, прошла в комнату и села в свое кресло, расстегнув куртку до половины. Мать с шумом распахнула платяной шкаф, зашварка-

ла туда-сюда железными головками вешалок.

– Где они? Где все ремни? На работу он в нем ушел, что ли...

Мать с досадой повернулась ко мне. Я молчала.

– Рано радуешься!

Она подлетела к окну, к крайней секции стенки. Там, над телевизором, родители хранили документы и лекарства, и там же стояло большое белое кашпо из тонкого пластика – со швейными принадлежностями, лохматыми клубками пряжи, острыми спицами, мотками ниток и кожаными пуговицами.

Мать поднялась на цыпочки, обеими руками подтянула кашпо. Поставила на складной столик.

– Сейчас-сейчас...

Из-под мотков пряжи, попутно разматывая какие-то узлы, она наконец выудила метр. Синий метр, которым обмеряла выкройки из «Бурды» и мою грудку, чтобы связать зимний свитер с горлом. «Мама, а душа – она в горле?» – спросила я зачем-то тогда. Эластичный метр, тонкий, такой темный, что цифры и деления еле видны. Мать сложила его вчетверо, запрятав концы в кулак.

– Поворачивайся! – скомандовала она. – И сюда, на диван.

Я расстегнула пуговку-клубничку, спустила джинсы, встав на колени. Голова моя лежала на подушке с черными кляксами. Кляксы похожи на верблюдов. Кэмел. Верблюд.

Метр со свистом рассек воздух, опустился.

И еще раз.

И еще.

– Скотина! Такая! – вскрикивала мать с нажимом, вкладывая в голос всю свою злость. – Будешь! Знать! Как! Терять! Вещи!

Я уперлась носом в пропахшую пылью буханку дивана. Стало жарко. Давили спущенные джинсы и почему-то резиновые манжеты рукавов.

– Всё? – переспросила я.

Мать ничего не ответила.

Я поднялась, и, еще стоя спиной к ней, натянула и застегнула джинсы. Повернулась. Села на диван.

Плыла перед глазами стенка, и мать, и свисающий из ее руки синий метр. Хотелось плакать, но не плакалось. Слезы застыли в глазах и никак не хотели вытекать, замерли. Я молчала, расковыривая царапину на руке, – что еще оставалось делать. Время будто замерло тоже – и унылого тиканья больше не было слышно.

А мать... Мать вдруг зажала рот рукой, будто опомнившись, и широко-широко раскрыла глаза.

– Господи... Что же я? Прости, прости, прости, – она упала перед диваном, перед моей грудью, утыкаясь лицом в колени. – Пожалуйста, прости. Тебе же не больно? Просто обидно, да?

Словно не узнавая, она отшвырнула метр на пол, потом всё же поднялась, скатала его и исчезла в коридоре – зашур-

шало мусорное ведро. Она вернулась и села в ту же позу, противно всхлипывая.

– Ты простишь меня? Ты ничего не скажешь папе? Я ведь не со зла, я ведь дура, дура...

Она опять положила лицо мне в колени, оставляя на джинсах горячие мокрые пятна. Показались ее лопатки в тонком свитерке, и вся понурая худая спина, и золотистая шея, которую обнажил свисающий набок растрепанный рыжий хвост.

Я неловко погладила ее по голове. Посмотрела в окно.

Солнце закатывалось с обратной стороны дома. Небо догорало, разделенное прутьями антенн. Где-то дребезжал пустой трамвай. Я хочу домой. Хочу домой. Хочу домой. Я.

До «вырастешь» оставалось еще десять лет.

Золотая лихорадка

Бог, верно, стал плотником, только чтобы сделать себе гитару.

Его творение – лакированная, светлого дерева, – слегка резонирует при каждом шаге; ощущать ее тяжесть даже приятно.

Говорят, боль лучше переживать в полумраке. Гитара лежит в черном чехле, как в плотных тяжелых шторах, которые выбирают в спальню, чтобы не пропускали свет. Спит и видит сны, быть может. К сожалению, себя саму спрятать в чехол нельзя – и на солнце приходится смотреть, и режет глаза от этого неуместного праздника в небе.

Но вот подошёл автобус и скрыл собою свет, как грязная железная туча. В салон они влезли последними, протиснулись в переднюю дверь – за толстой девочкой-подростком, за бабкой с венозной сеткой ног и пластмассовой палкой, за дедом с седыми клочьями из ушей. Водитель равнодушно отсчитал потные медяки сдачи, ссыпал их в Ленину ладонь. Лена поморщилась, но деньги взяла, и в свою очередь помусолила тоже.

S – Лена называла ее по-домашнему Стасей, но чаще, по давности дружбы, не называла никак – обогнала ее и протиснулась вглубь, к исписанным черным маркером, продавленным от сотен задниц сиденьям. Садиться, однако ж, не стала,

просто безжизненно повисла на поручне и положила голову на плечо. «Не плакать, только не плакать», – приказала себе S и стиснула челюсть так, что еще немного и раскрошатся пломбы, – а в горле всё равно колет, и губы кривит. О чем-то другом надо подумать, не об этом. Себя не жалеть, или пожалеть позже. Затошнило бы хоть...

Автобус тронулся, и мимо поплыли пустые веранды кафе, и зеленый сквер со статуей Петра, и мост над плотном стоячей воды, которая к августу вся зацвела. На мосту развеваются триколоры – хотя и ветра-то никакого нет, душно, как в бане. Дальше, дальше, дальше от него и его мира. Только комок неловкой боли, неподъемный пуд в горле S забирает с собой.

По дороге от остановки и до самого подъезда они молчат. На втором этаже Лена коротко кивает и проскальзывает в свой тамбур, стекло в двери дрожит от хлопка. S слышит, как она стучит три раза – свои! – по фанерной двери, и дверь с готовностью открывают.

Ей нужно пройти еще шесть пролетов наверх. К пятому этажу она почти смиряется с потерей, опускает руки, складывается в три погибели. С порога нужно будет скинуть со спины гитару, проскользнуть в ванную, пустить воду, а там уже сладко проплакаться, носом в кулак. Потом умыться холодной, потом сбежать во двор, может быть, – чтобы не отвечать на вопросы. Не так-то просто спрятать свое горе в двенадцатиметровой комнате, особенно если жить в ней втроем.

S открывает дверь своим ключом. Никого. Дома никого – и облегчение от этой тишины. Разложен низенький стол, в вазе торчат пять белых розочек с лентой.

У матери день рождения, розы принес отец – а S ничего не подарила, и сбежала прямо с застолья на концерт. Случилась даже маленькая ссора: «Какие могут быть подружки и гулянки сегодня! Я бы никогда так не сделала на твоём месте». S хотела было напомнить что-то про свои детские праздники и родительские развлечения, но махнула рукой – были дела поважнее грызни с матерью, не хотелось портить свое долгожданное счастье.

S валится в свое «детское» кресло с ногами, садится поперек, упираясь пятками и лопатками в мягкие, обитые плюшем лапы, подлокотники (подлость, кость). Они приятно скрипят. Неизвестно, когда вернутся родители, – поэтому S наконец отпускает себя, в экспресс-режиме выжимает из горла ком, рыдает быстро, с наслаждением, в голос. Надо бы прореветь столько, сколько возможно, чтобы голова надулась, как шар, чтобы мозги обложило ватой. В вате можно сколько-то существовать – и на время забыть, что всё рухнуло.

Но слёзы больше не идут, кончились; надо встать и умыться. Из заляпанного зеркала над раковиной на S смотрит девушка-девочка, переходная форма, волос коричневый, с рыжинкой. Тараканьего цвета, как кажется ей самой. У отражения выщипанные до ниточек (изящные!) грустные брови,

глаза круглые, зареванные, нос, и без того широкий нос картошкой, распух. И толстые губы распухли тоже, и будто бы даже подбородок раздался и покраснел. На ней синий сарафан, короткий, глубокого цвета сапфира. Завязывается на шее, а выше груди, на ключицах, красуется черный лакированный ободок, к которому завязки примотаны. «Это не платье, это от чемодана ручка», – сказала бабушка. Теперь S видит: оно и вправду хуже некуда, дешевое и пошрое, под мышками торчат силиконовые петли для вешалки. А ведь два часа назад ей всё нравилось. Выходя из дома, она тщательно выводила глаза смесью синего и черного, серебряный перламутр пыльной палочкой, по кругу глаза черным карандашом, губы забить жирным блеском... И волосы драла, чтобы не путались, железной расческой.

Лена выждет ровно пятнадцать минут, не больше. Через пятнадцать минут она появится на пороге. S знает ее всю жизнь: ее манеры, гримасы, все ее шмотки, повадки, словечки, запах ее квартиры, шаги ее родителей в коридоре. Знает всю жизнь, но порой (и очень часто) ей кажется, что эта не та ветка жизни, что S где-то заблудилась, а присутствие рядом Лены – верный знак, что что-то пошло не так.

Она вытирает нос детским жестом, тыльной стороной ладони. Цветы... И торт должен быть где-то. «Снежная королева», как мама любит, с серебряными шариками глазури. Похоже на ртуть, рассыпанную в сгустках крема.

Но вместо холодильника S открывает квартиру: дергает

на себя деревянную рассохшуюся дверь, с шумом раскрывает вторую, железную, поставленную давным-давно от воров-квартирников. Однажды она застряла между ними, железом и деревом. Одна дверь захлопнулась, а вторую было не открыть изнутри без ключа. Почему-то тогда она совсем не испугалась – наоборот, ей было так спокойно, как будто S нашла единственное безопасное место во всём мире, спряталась в коробке факира, у которой двойное дно.

Она слушает тишину подъезда – и это лучше, чем вздрогнуть от внезапного звонка в дверь. Лучше стоять вот так, вдыхать сигаретный дым и слушать неторопливые Ленины шаги наверх, ее знакомое покашливание, видеть в пролете каштановый хвост на затылке.

Лена, как змея, проскользнет мимо S в квартиру, Лена скинет кроссовки, деловито осмотрит свой нос в зеркале, плюхнется в кресло и с наслаждением съест кусок торта, не менее довольная собой и расслабленная, чем обычно. Она не умеет ни утешать, ни говорить красивых речей. Она может только советовать – и советы ее такие: идти за своим, напирать и брать силой. А когда у Лены советов нет, она предпочитает делать вид, что ничего не происходит. Это ее вид деликатности, единственный Лене доступный. В её мире всё очень просто – и надо же, ей и вправду всё дается легко, всё и всегда.

День этот выпадет из жизни, такой черный, будто все лампы внутри разом померкли – если там вообще был свет. И

солнце, вторя им, зашло за антенны дома напротив, и больше уже не вернулось – на всю следующую неделю, до самого сентября, зарядил тоскливый, слабенький серый дождь.

* * *

Началась эта болезнь меньше года назад.

Ленина мама работала методистом – S не смогла бы объяснить точно, что это за профессия, – Дворца молодежи (огромное здание в центре, на набережной, с трудом пережившее девяностые и теперь возвышавшееся над округой всеми своими башенками, балкончиками и стеклянным шаром кабинета астрономии), и часто привозила их к себе на работу, «погулять»; иногда записывала в какие-то кружки, запихивала для отчетности на занятия.

В ту субботу они действительно гульнули: проели все деньги в буфете, сделали набег на пустые кабинеты, перебрали бумажки в ящиках чьих-то столов, сфотографировались с уродливыми кактусами на подоконниках, в громадном зеркале женского туалета, в башне астрономии, в оранжерее и музее народного костюма на первом этаже. Развлечения кончились, стало скучно.

Лене пришла в голову грандиозная идея – поехать домой, на их левый берег реки, и торчать возле школы. S примерно понимала, зачем: наверняка там гуляет какая-нибудь компания, а в ней какой-нибудь угрюмый мальчик с ухмылочкой,

очередной *объект*. Лена сделала знак подождать в коридоре, а сама прошмыгнула в кабинет тети Иры. S живо представляла себе, как канючит Лена, как тётя Ира возмущенно распахивает свои голубые глаза навывкате, как слегка розовеет ее усыпанный веснушками римский нос. Сцена затягивалась, стоять под дверью было неловко, и S пошла вниз по этажам.

Дворец был устроен на манер римского Колизея, как его рисовали в учебниках, – ну или застывшего ада со своими кругами. Четырехэтажное здание с внутренним амфитеатром балкончиками, посреди первого этажа – громадный пустой овал. Изредка его перегораживали ради каких-нибудь выставок собак или кошек, ярмарок шуб или елок в конце декабря. Эта роскошь и дерзость – ничем не занять такой громадный кусок, как десять квартир родителей S, оставить его пустым, – восхищала.

Тишина Дворца была такая же, как в школе во время уроков, но не вызывала у S тревоги. Может быть, потому, что здесь не давали звонков, и никто не выбегал опасной толпой из кабинетов, не ломился в гардероб, не сбивал тебя с ног и не дрался за трубами. Правый берег вообще был другим миром – благополучным, уверенным, и пространство Дворца было его центром, подчеркнуто-торжественным.

S сделала круг по второму этажу – кабинеты, кабинеты, зигзаги лестниц, пожарные выходы, заляпанные окна, в которые набивается пыль, застревают в рамах сухие листья. Подъем и еще кружок. Из-за двери с номером 303 доносился

звук фортепиано и чье-то строгое «Р-р-раз, и два, и три... хорошо!». Дверь приоткрылась, и оттуда выбежала маленькая, крошечная даже девочка в черном трико, проскакала вниз по лестнице, пересекла Колизей, пугливо озираясь, и скрылась в нише, ведущей в женские туалеты. «Цыпленок», – подумала S.

Ее нагнала Лена. Нет, их не отпустят одних обратно. Нет, надо ждать. Мама («она», – скривилась Лена) дежурит, и торчать им тут до девяти. Можно было бы даже уйти сейчас и всем вместе – но нет, какая-то репетиция, какие-то ненадежные дети, «надо понаблюдать»; пойдём и мы посидим? «Что ж, пошли», – легко согласилась S.

В «Кукольном» – маленьком репетиционном зале под лестницей, почти что в подвале – оказалось невозможно дальше обсуждать одноклассника Лены по фамилии Камлыков. Туда-сюда бегал высокий парень в растаманской шапке, даже мужчина – настолько усталым и обмякшим было его лицо. За ним сновали пареньки и мальчишки разного возраста и одна-единственная коротышка женского пола, вся в фенечках и почему-то фиолетовых сапогах из тонкого фетра. В зале пахло сухой пылью, поджаренной в свете рамп, какой-то тканью, деревом – и еще чем-то странным, неподходящим этому месту, чем-то печальным, сладким, нездешним, но до боли знакомым.

Лена и S устроились в предпоследнем ряду, подальше от желтого света, который заливал дощатую сцену. Странные

эти ребята сновали кругом, шумели, пытались шутить, кривляться, паясничать, бегая между рядами. Чужое племя. Лена строчила очередное сообщение... S вздохнула – надо было хоть книгу взять.

Вдруг, как по команде, всё загудело, зафонило, заверещало... На сцену выбежал шуплый мальчик с причёской, как у киношного принца: длинные пряди падают на скулы и чуть закручиваются, скрывая их, а сзади – гладкий затылок соломенного, нет, золотого цвета. Он перекинул через плечо ремень толщиной в половину его самого, повесил на себя странной формы – пятиконечную, как звезда, – электрогитару и зачем-то зажал пластиковый уголок во рту. Лица его было не разглядеть: он сосредоточенно крутил колки, свет лампы падал прямо ему на голову, и голова качалась, полыхала, как еще один круглый фонарь, даже глазам больно от яркости.

S помнила мало деталей: паясничал рыжий Растаман, пела какая-то девочка с птичьим некрасивым лицом, в фетровых сапожках, от Лены шел запах чая, смешанный с ее домашним, привычным запахом, – и всё это было как в желтом расплывчатом сне, какой-то морок и почему-то предвкушение праздника. Мальчик закончил крутить колки и важно – с какой-то, S почувствовала, увесистой, профессиональной, заработанной важностью – кивнул. Заиграла быстрая улюлюкающая мелодия, как трель домашнего телефона, замелькал уголок пластика в его руках – длинные белые пальцы.

Тоскливая эта мелодия была словно не из этого вечера, не

из этого октября, предвестия длинной зимы, не из этого года, не из этого времени. S даже показалось, что она ее уже слышала, и не раз. Она отвернулась от желтого фонаря к Лене. Всё равно его свет отражался, застревал где-то в ресницах, ослеплял сбоку. Хотелось закрыть глаза и уснуть на Лениной плюшевой кофте, в облаке ее дыхания, под это тоскливое и нездешнее улюлюканье гитар.

И видеть сны, быть может.

...В гардеробе они столкнулись. Золотая голова выходил уже в дутой куртке, конечно, без шапки, с гитарным чехлом наперевес. S успела увидеть его ботинки – шнурованные «гриндерсы» на тяжелой платформе, – но вот лица снова не разглядела. Оно было белым, смазанным, длинным и слишком подвижным, терялось в облаке волос. С ним шел краснощекий барабанщик, следом – Растаман в цветной шапке.

Когда Ленина мама наконец оделась, собрала все ключи, проверила свой кошелек и взбила волосы у зеркала, – музыкальная рать, конечно, уже пропала из виду. Они вывалились в холод и пошли по бесконечным ступенькам наверх, к старинному храму, пересекли его строгую площадь, подсвеченный огнями театр, огромный одорукий памятник поэту Кольцову, магазины и рестораны, – и оказались на автобусной остановке. Было поздно, город горел апельсинными фонарями, уютно и гостеприимно, как большая комната с керосиновой лампой; глубокая осень, пахнет прелыми листьями, вчерашним дождем.

В тесной маршрутке – тетя Ира еле выловила ее в потоке равнодушных машин, размахивая короткой ручкой в пальто, – Лена пристала к матери, со скучающим видом, как бы между прочим, выпрашивая: кто это был, что за «придурки» (было очень важно их обозвать, ни в коем случае не выдать своего интереса). Тетя Ира фыркнула, но объяснила: это такой кружок, парень в растаманской шапке учит их всех играть, писать песенки... даже что-то записывают они на студии... «А что такое, понравились, что ли?»

Переехали мост – и сразу вплыли в темноту. Левый берег реки, на котором они жили, был спальный, непарадный и негостеприимный. Они прошли переулок, как всегда немножко в страхе, уцепившись друг за друга локтями, словно три заварочных чайника. Лена с тетей Ирой стояли на площадке второго этажа, пока S поднималась на свой пятый. Это была традиция, в конце надо было крикнуть вниз: «Дошла!», – тогда все были спокойны, можно было прощаться. В их подъезде случалось всякое, и пока за S не захлопывались обе двери, пока в коридоре не загорался свет, она не чувствовала себя в безопасности.

Родители смотрели телевизор, уже расстелив постель. S тоже разложила свое кресло, переделась в ночнушку с оленем и легла.

И ничего еще не происходило, но уснула S глубоко за полночь, обнимая ногами подушку, и снилось ей почему-то, что она взлетает над сценой «Кукольного», как на воздушном

шарике, и летит куда-то выше рампы, выше кресел, под самый лепной потолок, который обычно никто не разглядывает, – а внизу качается золотой шар головы, похожий на огромный полевой одуванчик.

* * *

Что же было потом? Ну, заболела она не сразу. Редко кто причащается с порога, тем более в первый раз.

Возможно, ее заразила Лена со своим вечным интересом ко всему новому. Они вместе ездили теперь во Дворец заниматься танцами, но, несмотря на все Ленины усилия, «этих» – так она прозвала рок-кружок с первого дня – не встречали. Они возвращались на левый берег, каждая со своим плеером в ушах, переодевались и шли еще гулять вокруг школы, и Лена повторяла одно и то же: «Как бы с ними познакомиться? Как бы хоть имена узнать? Придумай что-нибудь, ты же умная», – просила она S, но та лишь разводила руками.

Зиму они обе провели – словно в теплом сугробе; это было счастливое время. Лена всё так же приходила к S, а иногда и S спускалась на второй этаж, они строили домики в «Sims», слушали музыку, обсуждали мальчиков Лены. Прошли зимние каникулы, потом короткий темный февраль – за образ февраля в голове S почему-то отвечали шесть окон спортивного зала, электрический мигающий свет и успокаивающий

стук баскетбольного мяча. Они с Леной учились в разных классах, но обе во вторую смену, и обязательно дожидались друга друга в пропавшем сменкой фойе, а потом радостно выбегали в холод и темноту, на скользкие ступеньки школы.

В конце февраля, сразу после дня рождения, на S и вовсе напало какое-то странное, небывалое предощущение счастья. Она боялась этого чувства, она боялась радоваться заранее, потому что даже в пятнадцать лет догадывалась, что жизнь обожает обманывать. Но и ничего поделать с собой не могла: взявшаяся из ниоткуда сила распирала ее, весна обещала что-то такое, чего еще не бывало, но что навсегда поменяет ее темное камерное существование.

У Лены была своя миссия: к апрелю она все-таки раскопала полное досье на тех, из «Кукольного» зала. В Сети были даже видеозаписи репетиций – плохонькие, самодельные, но всё же лучше, чем ничего. S интересовала только та улюлюкающая мелодия, которую играл своими быстрыми пальцами золотой одуванчик, – и, к счастью, она была записана тоже, и стала ей тут же дорогá, как всё, что было долго утеряно. Насытившись ею, переслушав десятки раз, разобрав на аккорды и партии, она наконец взгляделась в фотографии ее автора – и даже разочаровалась. Он не был красив. Он был, как безжалостно заключила Лена, даже уродлив. Лицо его было узким, но с детской припухлостью возле рта. Шар головы создавали волосы, волосы, волосы, которые он нетерпеливо откидывал назад, вглядываясь в нотный стан – фотография

раз, два, три, взгляд исподлобья, истерзанная губа, длинные пальцы неловко прижимают челку. Нос широковат, кто-то выложил фотографию номер пять, крупный план, – переносицу портит россыпь крупных веснушек. Весь он был сделан из какого-то тонкого, легко краснеющего материала, через который просвечивали голубоватые вены на висках; губы казались темнее, чем нужно, лоб – белый матовый алебастр. Он был неприятно худым, с торчащими ключицами, острыми коленями, цыплячьими ногами в рыжих волосках. S перевела взгляд на его фамилию – поповская, церковная, старорежимная... Дьячок N-ской церкви. Она мысленно примерила ему бородку, рясу, крест – дьячок и есть.

Но в мелодии, которую он написал, было нечто, будто бы только к S обращенное – и поиск, и тоска, и отчаяние. Ее повторы гипнотизировали, завораживали, ну, а то, что он там пел, не имело особого значения – что-то про золото и про грех, совсем бессвязное.

Во второй раз в жизни S увидела его в июне. Лена потащила ее на концерт, до того странный, что S каждую секунду было неловко за себя, за музыкантов, за всех, кто пришел к Камерному театру и толпился в скверике под импровизированной сценой. Лену никто не интересовал, кроме какого-то очередного объекта, которого она уже выбрала себе по фотографиям и приготовилась таранить, завоевывать и закидывать сообщениями до полной капитуляции. Вот тогда-то, пока они непринужденно (как Лене казалось) обходили аллею

по сотому кругу, пока Лена пыталась заметить нужного ей барабанщика, басиста или кто он там был – а главное, увидеть, смотрит ли он на Лену, как смотрит и долго ли это делает, – вот тогда-то S увидела его: золотой шар головы, сложенные на груди тонкие руки, гитарный чехол за спиной.

Он стоял посреди главной аллеи, у самых ворот, и переминался с ноги на ногу, мешая новым прихожанам войти. Смущенно, детским движением, чесал нос и озирался – S даже показалось, что он замер дольше обычного, глядя в их с Леной сторону и сосредоточенно щурясь. У него был длинный рот всё с теми же припухлостями, и грустные скулы, и внимательный, утопленный взгляд, и плечики узкие, из растянутого ворота торчит длинная шея...

На сцену они почему-то так и не вышли, хотя название их группы красовалось на афише. S, сама еще не зная, за чем, следила за ним очень внимательно, стараясь не выдать себя, – и видела, что он ходил всё быстрее, худые ноги штангенциркулем мелькали туда-сюда. Потом *эти* вовсе ушли, и Лена разочарованно вздохнула, и они уехали на свой мрачный берег – строить планы, как всё будет в следующий раз.

...Она вспоминала золотую голову всё чаще, но ничего не говорила Лене. Даже имя его S не нравилось, казалось совсем неподходящим ее миру. Богдан. А сокращенно это как? И почему она вообще об этом раздумывает? Это был червячок, который незаметно принялся точить ее внутренности, червячок любопытства, сомнения... и еще чего-то, пока

безымянного.

В разговоре с Леной она передразнивала золотой шар, называла его Буратино, делая вид, что не помнит имени. Она расставляла ноги как можно шире, хрипела его песенки и повторяла движения медиатором на невидимой гитаре, откидывала полотно волос назад, как он, и ощупывала языком внутреннюю стенку щеки, приоткрывая рот, словно задумавшись. Лена хлопала в ладоши и каталась по дивану от хохота. Пародия получалась точной: S смотрела много, много видео с их выступлений.

С каждой такой пародией к любопытству S примешивалось чувство вины: она уже была почти уверена, что этот Богдан – отличный парень, намного лучше ее самой, и уж он-то никогда не стал бы тратить ни минуты на то, чтобы высмеивать со своими друзьями незнакомую девочку.

Иногда S приходила в точку жалости – все-таки Богдан был слишком нескладным, худым... Лена открыто называла его некрасивым, уродливым даже – и S соглашалась: наверное, да, как же еще. Потом жалость проклюнулась во что-то другое, дала внезапный росток. Как если бы кто-то посадил лук-шалот, а на его месте вырос тюльпан, в неподходящем месте, не в тот час. S еще не знала, и ей неоткуда было узнать, что это называется словом «нежность».

Откуда-то с затылка наплывало облако, тепло разливалось по позвоночнику – и S даже вздрагивала.

Она всё чаще ловила себя на том, что хочет посмотреть

видео еще раз, и еще, и снова. Ей стыдно, но она хочет. Она нетерпеливо дожидалась ухода Лены, и включала видео с репетиции, и ждала того самого кадра, в котором он развернется и вспыхнет своим сияющим смехом, вскинет удивленные брови; но гремит ключ в замке, яростно проворачивается, и всё приходится выключить: нельзя, чтобы родители видели ее с таким блаженным, одуревшим лицом.

* * *

S боролась с лихорадкой так же, как иные борются с горем. Сначала она отрицала то, что произошло: нет-нет-нет, совсем ничего нет, просто любопытно, просто жалко его, просто скучно. Потом она разозлилась на саму себя и пробовала вообще не смотреть на него, и не слушать его песен, и не придумывать себе ничего.

Всё кончилось тем, что однажды, набравшись невиданной смелости, она написала ему: поблагодарила за музыку, напредила, что однажды они виделись на концерте. Богдан был на редкость вежливым и благодарным, но разговоры с ним получались пустые. «Как дела?» «Всё хорошо, а у тебя». «То же, что делаешь?» «Да вот поел, а ты?»

Но даже через эти короткие переписки в нем чувствовалась гармония, безмятежная благодать. Постепенно S узнала многое: Богдан жил в центре, за старым цирком, на месте до-революционного кладбища, и учился в центральной школе,

куда перешла бывшая одноклассница S. «Интересно, – думала S, – что было бы, если бы он хоть раз в таком виде заявился в нашу семь-четыре? Избили бы в первый же день, да и всё». Хотя Богдан, судя по всему, не умел ни с кем ссориться: даже когда что-то заваривалось в их группе ВКонтакте – кто-то приходил и спорил до хрипоты про вокал, барабаны, про плагиат и смешение стилей, – Богдан вставлял свое слово последним и сворачивал спор маленькой шуткой, по-доброму, но твердо. В нем говорила какая-то сила правды, какое-то внутреннее спокойствие и отсутствие страха, что ли, – страха, который сидел в каждой клетке S, поселился от жизни в этом доме, квартале, районе, где в любой момент с тобой может случиться что угодно, как ни оденься, как ни берегись... И живет он, наверное, уж не на двенадцати метрах. Кто-то из тех, кого Лена атаковала своим дружелюбием, сказал, что Богдан единственный из них окончил музыкальную школу и получил аттестат с отличием – он поступал по классу фортепиано. Фор-те-пи-а-но! Играл гаммы, раскладывал свои длинные пальцы, ласкал блестящие белые клавиши... Значит, есть инструмент, значит, есть своя комната, где можно играть. А у S только шкаф в нижней секции стенки, как конура.

Невозможно было представить, какие родители у человека с его лицом. Невозможно было вообще представить, что у него есть родители. Как он делает уроки, интересно? Всё то же самое – и совсем нет. У него вот выются волосы, воло-

сы выются. У S никогда этого не получалось – ее коричневые пряди просто висели вниз, были жесткими, колючими и расщепленными на концах, спутанными. Он был совсем из иного материала. Этот материал, противоположный ее собственному, в сущности, был рядом всю жизнь: с детства ее окружали тонкокожие люди. Мать, руки все в веснушках, как мягкое рыжее солнце. Лена, расцвеченная красными точками, горбинка на носу; такая же – тетя Ира. У Богдана, впрочем, другая выделка, как будто еще тоньше, искуснее, более редкий вариант. Золото и фарфор...

Это всё был уже торг. Это был поиск, за что уцепиться, чтоб не увязнуть. Конечно, и это не получилось – лихорадка похожа на вагонетку, которая разгоняется и может разве что сойти с рельс, но никогда не остановиться.

Наступал вечер, они ужинали с родителями за низеньким раскладным столиком втроем – южный летний ужин из жареной курицы и салата со сметаной, перед сном она опускала ноги в тазик и прислушивалась к стуку колес – летом почему-то его было особенно хорошо слышно, любимый звук железной дороги, и она по привычке представляла, куда же едут люди, на какой такой юг южнее, чем их собственный, и родители наконец гасили свет, и клавиша выключателя звенела по латуни, – всё, всё, всё это время она ждала минуты, когда накроется с головой и останется одна в тишине со своим плеером, один на один с хриплым, полым, до боли уже знакомым голосом Богдана.

25 июля, в душную ночь над Доном, S уснула, думая про этот самый материал и вспоминая одну фотографию. Она была сделана в поезде, на котором они ехали играть в какой-то там Белозерск. На нижней полке, влезая в кадр справа, изогнулся Богдан, раскрыв рот в удивленной гримасе и сощулив глаза. Пряди на лице, торчит сзади поездная занавесочка, и футболка на нем домашняя, выцветший хаки. Это его цвет. S вдруг видит, что и глаза у него – тоже хаки: зеленые, в окружении темных ресниц. Черные ресницы, черные зрачки с красным отблеском вспышки. Кольца пшеничных волос, шея, приоткрытый рот... Она замечает, что губы у него вовсе не тонкие, и прозрачная кожа на щеках, и румянец загара. Но главное – мякоть рта, влажность, розовость рта. Мокрые стенки щек, которые он изучает кончиком языка, истерзанные губы... Что-то сладко оборвалось в солнечном сплетении, и по плечам побежали мурашки стыда.

Конечно, это было уже отчаяние. Своих мыслей, цепочки ассоциаций, которая всё разворачивалась, никого не спросив, – S в те дни боялась, с ужасом и стыдом отмахивалась.

Но недолго. Однажды вечером, не выдержав любопытства, она раскатала сцену с Богданом. Зажмурилась и нырнула в темноту пододеялья. Что ж, пусть будет поезд. Один плацкарт... нет, лучше купе. Они попадают вместе случайно, едут на какие-нибудь там экзамены или концерты. В Москву. Каждый по своему делу. Пусть он лежит, как на фотографии, на нижней полке, справа. Пусть читает что-нибудь...

нет, пусть слушает плеер, и голубоватый свет экрана подсвечивает его византийское мальчишечье лицо. Пусть сосредоточенно выбирает песню, лежит там, в футболке цвета хаки, накрывшись белым накрахмаленным пододеяльником до груди. А она... Она пусть лежит на полке сверху, противоположной. Пусть смотрит на него сперва, и пусть он тоже видит, как красиво она запрыгивает на свою эту полку, подтягивает ноги (надо бы научиться – так, чтобы не становиться на стол)... И пусть задирается майка, да, чуть-чуть задирается, чтобы он видел ее плоский живот – единственное, чем пока можно гордиться.

Дальше. Так получилось, что все сошли на станции ночью. Ну, не совсем ночью, часов в девять вечера. Все сошли, и поезд снова тронулся... И пусть он, уже заинтересованный ею, – кстати, а они будут знакомы? да, пусть будут, немного, как сейчас, – поглядывает вверх и притворяется, что дремлет. А она будет слезать и заденет его ножкой, так, чуть-чуть, неуклюже... Как же его задеть, если слезаешь с противоположной полки? Ну, как-нибудь уж заденет, или, еще лучше, упадет. Упадет на его ноги в белом пододеяльнике, и будет извиняться и приподниматься, ощупывая в темноте его тонкие предплечья, – и почувствует его жар, и запах этой самой футболки, запах чистоты, глаженого белья... И его мягкие волосы совсем рядом, и прозрачная кожа щеки – и он еще ближе, он прикрывает темные ресницы. И она, наконец, вламывается в его лицо, она сминает розовый рот, она врастает

пальцами в затылок, в его белую шею, закладывает ладони под мочки тоненьких нежных ушей. Они клонятся на полку, сцепившись в одно целое, и это такой глубокий, влажный поцелуй, как у подростков в лагере, когда почти поедают друг друга, – и она вдруг лежит под ним, внизу, на крахмальной простыне, а с шеи его свисает выпавшая из ворота футболки цепочка, серебряный крестик попадает ей чуть ли не в рот...

Теплеет, томится, плавится что-то в горле, груди, животе... Ужасно. И дальше фантазию она не может закончить, будто бы кто-то за ней подглядел. Да и чем закончить?

В эту ночь она ворочается дольше обычного, скатывая под собой простыню, – но зато к ней прилетает то самое осеннее чувство, будто она немножко взлетает, становится легкой, как перышко, и качает ее удивительная белая нега.

Лена приходит на следующий день ровно в двенадцать. S чувствует себя так, будто носит внутри отцовскую гирию, распирающий грудь секрет. Они слушают песни – какое-то «Ветренное сердце», еще одна группа, где играет Ленин объект, барабанщик.

S разогрела фаршированный перец, расквасив его безжизненную мякоть по тарелке, отрезала треугольник серого хлеба. Она набирает побольше воздуха и спрашивает вдруг, будто сбросившись с вышки:

– Скажи, а ты правда думаешь, что Рыба – уродливый?

Лена резко выкручивает кресло и обалдело глядит на нее.

– Ты чего? Конечно, уродливый. – Потом задумывается. –

Ну хорошо: может быть, просто некрасивый. Ему бы набрать килограммов пять...

– Но посмотри, ты внимательно посмотри, – не понимает-ся S, – у него же абсолютная симметрия в лице. Оно... я не знаю, ну... оно правильное. А еще, – взволнованно продолжает она, – посмотри, какой у него цвет глаз. И ресницы, и брови при этом не белесые, яркие. И лицо такое... светится, что ли? Ты сама говорила, что улыбка у него красивая! И вот здесь, – S показывает место, где шея переходит в плечо, – вот здесь как-то особенно... особенно сплетено.

Лена слушает ее, обалдело моргая.

– погоди, – тихо перебивает она, – погоди... Я не поняла, он тебе нравится, что ли?

Любые свои чувства они вслух именовали как «нравит-ся» – не влюбленность, не любовь, не даже симпатия, как говорят тридцатилетки по десятому каналу. «Он нравится мне».

S вздыхает, падает гиря секрета. Случается, наконец, при-нятие.

* * *

Через неделю после того признания S пришлось уехать в деревню, жить в душном домике со старой, въедливой, на-зойливой, как муха, бабушкой.

На прощание они с Леной поехали на площадь Детей – так

называлось на картах это место; длинные-длинные ступеньки вдоль фонтанов, мимо театра, церкви, еще ниже, и вот она – площадь Детей, и значится на ней только одно здание – Дворец молодежи.

S обнялась с парапетом и задумчиво смотрела вдаль, на стеклянный шар и закрытые до сентября двери. Вокруг вертелись скейтеры, панки, танцовщики брейка, юный центральный народ. Вообще-то в любую минуту здесь мог бы появиться и Богдан. Тогда бы всё закрутилось, тогда бы S своего не упустила – и, может, даже сбежала бы прямо с автобуса, не поехала бы ни к какой бабке, устроила бы родителям бойкот. Она с тоской думала о том, сколько всего может случиться здесь за две недели без нее, сколько всего затормозится.

Богдан рос и рос внутри ее головы – и даже во тьме дискотеки, дурацкой сельской дискотеки S воображала *сценарии*, уставившись в стенку и расплывшись в улыбке, качая локтями в танце, как курица, нервно и глупо. И сценарии ее были глупы: Богдан с друзьями... не этими, какими-нибудь другими, попроще, друзьями ехал мимо, заблудился... Или, может, у кого-то из них тут дача? И вот он приходит посмотреть эту их жизнь с дискотекой, и S видит его – она резко оборачивалась на четырехугольник света в дверном проеме... И он ее, конечно, узнает и предложит пройтись – и они пойдут гулять по ночному холоду к речке, и он обнимет ее, ведь она такая красивая в этом вот чернильном платице. А может, для начала они станцуют здесь под медленную песню, кача-

ьясь и поневоле прижимаясь друг к другу; ее болтающий рот над его шеей и маленьким ушком.

Она приходила домой, валилась на остывшую перину. Он будет забираться в окно, а потом вылезать, чтобы бабушка не застала... Сейчас, в темноте, они лежали бы вместе – его тонкое теплое тело с прозрачной кожей, и твердость губ, сплетенье шеи, золото сухих волос, византийские черты, исказившиеся – она даже пока не представляла, как именно, – страстностью. Невинность – что может быть проще и естественнее, чем спать под одним одеялом? – постепенно, с каждой минутой всё больше превращаемая в запретный плод.

* * *

Город встретил S жарой, пылью, шумным школьным базаром. Тут же гнезвился продуктовый рынок, и запахи смешивались воедино: раскаленный асфальт, свежая зелень, кожа новых ботинок, дешевая синтетика блузок в шуршащем целлофане, пластмассовый запах обложек для учебников, лопнувшие от спелости томаты, дыня и снова – асфальт, асфальт, дорожная пыль.

В середине августа она простудилась – и пожаловалась Богдану на температуру и скуку.

«Ого, ну ты лечись! Пей там мед с молоком и всё такое».

И – о, триумф! – на следующий день он написал ей сам.

Из правого нижнего угла монитора вдруг выплыло сообщение от него, него, него, и у S даже сперло дыхание от неожиданности, и она медлила, не открывая, чтобы хоть немного унять радостную тревогу. Он всего лишь спрашивал, как ее самочувствие, – и она ответила, что «спасибо, уже лучше».

Каждое утро, проснувшись, она зажмуривалась и утыкалась в обивку кресла еще на десять минут – представляя, разыгрывая, придумывая. Ее захватила вдруг уверенность: всё случится очень скоро, вот-вот, ждет за порогом, наступит сегодня, завтра... 28 августа на концерте. Они уйдут с него вместе, и будут гулять по центру, шуршать первыми желтыми листьями, и укроются от дождя...

...От вот этого самого ливня с грозой, который теперь стучит по кровле, по трубам, мочит несчастные бельевые веревки, стекает с красного градусника. Его выпуклый циферблат ошалело показывает тридцать два градуса по Цельсию – у градусника тоже лихорадка, он сходит с ума. Эйфория кончилась. Остается только болезнь.

Вернулись родители – и Лена, едва поздоровавшись, тут же ушла, неловко поздравив маму S с днем рождения.

Мама была по-прежнему недовольна, и все быстро легли спать.

Дом поплыл, как корабль... Была у S еще с детства такая маленькая фантазия: однажды придет большая вода, и затопит всё вокруг, и каждый будет качаться в своей кровати, как в лодке, и спасать ближнего своего.

Она еще беззвучно поплакала, уткнувшись носом в щель между подлокотником и подушкой. Чтобы смириться, надо было много раз повторить: что ж, у Богдана есть девушка, место в раю занято, божок и шлюха в наколках, и на концерт он привел ее, и ушел в темноту по аллее – с ней. Вот это и было холодной правдой, в отличие от дурной радости последнего месяца, за которую сразу же стало стыдно.

* * *

Началась школа. S занималась одним и тем же, вычерчивая инициалы Богдана на последней странице тетради, предназначенной для гаданий, карикатур и переписки с соседкой по парте.

– Отнеситесь к этому очень серьезно, – гаркает над ухом классная руководительница, классручка, крутобокая Оленька. – Это выпускной год! Начинайте работать уже с первой четверти, чтобы потом не было мучительно больно.

Над головами плывет чей-то бумажный самолетик.

– Классный час – это такой же урок! – визжит Оленька и стучит кулаком по столу, по стеклу, под которым лежат бесконечные ведомости. – Тишина в классе! Тишина!

S жмурится и закрывает тетрадь. В его центральной школе такого бреда, пожалуй, нет. В его школе никто не орет над ухом, не плюется в спину бумажными комками, там разрешают носить пирсинг в носу, и розовые волосы, и ремень с

заклепками, и что хочешь еще. Он растет на свободе.

В субботу S собирается на очередной концерт. Умом S понимает, что ни на какие концерты ходить больше не нужно, – но что ты будешь делать, на упрямстве человек и едет из пятнадцати лет в свои восемнадцать.

Поздним вечером она приезжает куда-то в переходную зону между двух берегов, мрачный пустырь почти под мостом, и кругом одни заправки и шиномонтажки. S потряхивает, пока она спускается в красный свет клуба, а когда ей на запястье ставят печать – синий лохматый паук, – ее и вовсе начинает бить крупная дрожь.

Играют «RHCP» – «Choose not a life of imitation, distant cousin to the resurrection». Где он, где он, где он? На припеве – тягучем, размеренном – он наконец появляется. Богдан стоит на пороге с лицом напряженным, сосредоточенным, в красном свете кажущимся даже напуганным. Внизу он быстро оттаивает и жмет руку всем по очереди, пальцы утопают в жирных ладонях бармена. На запястье у него красуется печать – такая же, какую поставили S. «Ever wonder if it's all for you». Богдан ничего не играет, ни разу не выходит даже на сцену, – но S без конца смотрит, мимо поющих и пляшущих, в его сторону. На сцене прыгает в белых шортах кавказец с сочным баритоном и поет красивую песню про первый снег, который очистит землю и превратит ее в девственно чистое море.

Обратно она едет в маленькой желтой маршрутке. Внутри

всё трясется и грохочет; маршрутка прыгает на каждой кочке, падает в каждую яму, взлетает на каждом шве Северного моста.

Слева и справа мелькают огни двух других мостов, проносятся в черноте осенней ночи. S видит отражение своего плеча – и жалеет, что законную тьму не может осветить, например первый снег, его красное зарево. До снега еще месяц... два.

S нетерпеливо ныряет в свои мысли, валандается в них, провожая взглядом скупые огни на улицах уже их пустынного левого берега, – и думает, что сегодня полюбила даже сильнее этот беззащитный затылок, это озаренное смехом лицо, сосредоточенный взгляд, выпирающие сквозь тонкую ткань рубашки лопатки. Он расстанется с ней, он обязательно с ней расстанется. S незаметно скрещивает два пальца в перчатке.

* * *

В огонь лихорадки всё время приходилось подбрасывать дровишек – и хоть S и сама толком не понимала, зачем это делает, – для прежнего ли мазохистского удовольствия, для того ли, чтобы снова почувствовать себя легким перышком, наполниться ожиданием счастья, – на растопку костра она отправляла всё, что у нее осталось, последние запасы. Сценарий с поездом давно выдохся, была парочка новых, но от

частого употребления и они уже выцветали. Вот танец под «Снег», вот случайная встреча в дождь – и он тянет ее под крышу... Всё – прокручено сотни раз.

Сама мысль о нем становится привычкой, натирает мозоль. «Я хочу его встретить сегодня, – говорит она зеркалу. – Дай же мне встретить его». И она идет решительно, едет в центр, в сцепку с Леной или одна обходит Камерный театр, Пятницкого, кафе-мороженое, рынок, даже пахнущий конским навозом цирк. Ничего, никогда. Она едет в автобусе и на каждой остановке стреляет глазами по очереди в каждую из трех дверей – нет, нет и нет. Почему-то он никогда не заходит в тот же автобус, он вообще, наверное, не ездит никуда, не ходит, – но так же не может быть, так же не может!

Потом ей кажется, что зеркало можно обмануть. «Ладно, – лениво говорит она. – Я знаю, что сегодня его не встречу. Я даже этого не жду. Я просто иду по своим делам, и не жду ничего, ясно? Я не жду ничего». ...Белые головы, на улице сплошь белые головы, как будто все парни и девушки города запаслись пергидролью на годы вперед. Но золотой среди них не бывает. Хитрость ее не работает.

Она отчаивается. Наступает слякотный, совсем уже глубокий декабрь, зима, черные лужи под тонким льдом, и S решает излечиться, не думать об этом вообще. Но над ухом, словно комар, звенит Лена, шепчет про очередного кого-то, такого классного, что нет никаких сил, – а потом, видя резиновое, безразличное лицо S, бросает как бы между прочим,

что видела в центре Богдана – или кого-то очень похожего... Но, скорее всего, Богдана – и он был один, без своей шап- ры, грустный какой-то... «Напиши ему, – повторяет она. – Напиши, напиши!»

Всё, чем теперь одержима S, – отмотать время назад. Отмотать время назад, чтобы всё исправить, завести общих знакомых, подготовиться к встрече. Пойти в этот их кружок, и ходить с ним на репетиции, целый год – бок о бок... Она бы своего не упустила! Но кружка нет и в помине, куда-то делся патлатый рыжий Гуру, и ничего не поправишь. Что еще? Перейти в его школу? Это значит ездить через полгорода – к тому же, в выпускном классе... Отмотать время еще дальше, пойти учиться играть на фортепиано, ходить с ним в одну музыкальную школу, приобщиться к его ремеслу, поменять жизнь – с самого начала; жалеть-то, в сущности, нечего. У S был слух, был даже какой-никакой голос – но в какую музыкальную школу ты пойдешь в этом богом забытом районе, какое фортепиано поставишь в их двенадцатиметровую стенка-кресло-диван комнату?

Однако ж она так много канючила, что еще летом, сразу после возвращения из деревни, отец расщедрился на красивую гитару орехового цвета, с крепко натянутыми струнами и глубоким древесным звуком. Лена подхватила идею молниеносно – на следующий день в их комнате появился желтый «бобер», выпрошенный у какого-то двоюродного брата.

Тетя Ира нашла им учителя – долговязый Петька препода-

давал игру на домре в русском народном ансамбле Дворца молодежи. Петька чертил в нотной тетради гаммы, заставлял повторять трезвучия и зачем-то песню «Огуречик» – «в траве сидел кузнечик, совсем как огуречик». S краснела от стыда: видел бы это Богдан! Ей изо всех сил хотелось играть что-то настоящее, учить аккорды *тех самых* песен, непременно взмахивать и бить пятирублевой монетой – медиаторы она без конца теряла – по струнам и «рубить» что-то крутое. Не «Кузнечика».

...В самоучителе она находит трюк: бить по шестой струне, третьей, второй, первой, второй, третьей... Еще раз. Это вступление к «Nothing else matters», вечной классике рока. Дальше начинается сложная партия соло, туда S продвигается с трудом, – но первые шесть нот повторяет Лене с важным видом, представляя, как всё это будет, когда она сможет играть по-настоящему, и потом купит электрогитару, и будет как они все, как Богдан, станет наконец-то своей – и сможет получить то, чего так хочет.

* * *

Расцветали деревья, сумерки становились прозрачнее, по реке шел синий лед, и дождь, казавшийся даже теплым, каждый вечер очищал землю от зимней грязи, превратившихся в труху листьев, пепла – будто вытягивал из дальних углов осевшую за долгие месяцы паутину и мглу.

В апреле Индеец – какой-то очередной тип из калейдоскопа тех, кто нравился Лене, – все-таки нашел силы ее послать; послать так грубо и примитивно, что S стало стыдно за их мирок. Так быть не должно, так вообще нельзя существовать, как они с Леной, это какой-то черновик юности. У девочки должна быть своя комната, и свое кружевное белье, и кровать с балдахинном, и приличная пижама, и нежные духи, и цветы на всякие праздники, и поклонники, которые шлют открытки, восхищаясь нежностью и чистотой. От S же пахло табачищем, потому что отец всегда курил прямо тут, в коридоре, только слегка прикрыв дверь, а Лена, как ни старалась, пахла офицерским одеколоном своего отца, который прошел Афган. В общем, далеко от долины роз.

Лена, впрочем, долго горевать не умела. Она познакомилась с красномордым барабанщиком, которого звали Геша, – и пропала с радаров в один миг.

Объявилась она утром 7 мая с тревожным сообщением: «Геша зовет домой». «И что же?» – осторожно спросила S. «Не знаю».

В три часа начинался парадный концерт во Дворце молодежи, на который обязательно-обязательно-обязательно надо было прийти и читать стихи по просьбе тети Иры.

Лены нигде не было. Тетя Ира то и дело оборачивалась на S с вопросом – и S пожимала плечами. На пятом повороте она не выдержала и быстро набрала под скамейкой, вслепую, смс: «ТЫ ГДЕ?» Ответа не было. S даже попробовала зво-

нить, убавив до предела громкость, – никто не брал трубку. Геша, Геша... Кто знает этого Гешу? Если до четырех она не появится, нужно будет собраться с духом и всё рассказать тете Ире. Правда, она не знает адреса – но можно, наверное, где-то узнать?

Но без пяти четыре, прямо посреди очередного танца перwokлассниц в гимнастерках, в дверях как ни в чем не бывало выросла Лена. Она лениво прошла вдоль окна, вальяжно кивнула тете Ире и двинулась за скамейку, на которой сидела S. Та приготовила даже гримасу – «ну ты, подруга, даешь!». Лена еще раз кивнула, с совсем уж королевским и смешным лицом. В перерыве она подсела.

– Кстати, было совсем даже не больно.

И Лена начала ездить к Геше каждый день, обливаясь грушевыми своими сладкими духами, подводя глаза как можно жирнее, собирая грудь воедино поролоновым лифчиком. Иногда они с Гешей ходили в кино – и он поглощал там ее своим круглым маленьким ртом. Иногда она просто ехала делать это самое, и тогда уже всё происходило, по ее рассказам, быстро, грубо, примитивно – и слушали они всё время песни гламурных рокеров «Muse», про love, которая will be forever, – и плакался он ей в перерывах о том, как прекрасна была его Юка, фетровые сапожки, о том, как было хорошо, и, несмотря на то, что она страшненькая, с «цыплячьим», как он сказал, лицом, – она была горяча, и он очень ее любил, сам не зная, за что.

Любовь вообще никогда не советуется с головой.

Последнее тепло, последнее нечто осталось от ее лихорадки – золотой лихорадки, которая вся вышла в ночных скольжениях губами по подушке, в раскатываниях перед сном, растворилась в клубном дыме, вся вышла на ожидание – ожидание его появления, ожидание его сообщения, его приглашения, его взгляда, знака, звонка, чуда; чудом это и стало в конце концов, чудом – из-за своей невозможности. Ожидание – и опоздание – идут рядом. Золотое и черное, теплые желтые листья и ноябрьский мрак.

* * *

Наступило мерзкое лето, совсем не похожее на то, что случилось год назад.

Ничего не хотелось: ни выходить под палящий зной, ни гулять вокруг школы в тысячный раз, ни ездить на площадь перед Дворцом смотреть на скейтеров и велосипедистов. Она поняла вдруг, что всё это действительно, вправду, без шуток бесполезно – и хотя в ней теплился последний уголек, сил на то, чтобы раздуть его, не осталось. Целыми днями она сидела у линзы монитора и играла в «писающих человечков» – создавала виртуальные семьи, строила им дома, топила в бассейне. Стол зарос тарелками с крахмальным налетом от картошки, в ковре под компьютерным креслом застряли куски печенья. «Как же я устала от вас! – причитала

мать. – Что ж это за жизнь!..»

В конце июня, не выдержав городской тоски, S согласилась уехать в деревню. Там было всё по-старому, всё знакомо, как в детстве, как в райке.

Екнуло сердце один-единственный раз – когда деревенская соседка, сдобная Нинка, повела ее за клуб, в беседку, знакомить со своим новым дружком. «Вот, – гордо представила она, – Санёчек». В темноте мелькнула белая голова, прическа «принц» на прямой пробор. S захлопала глазами – но видение пропало, как только Санёчек повернулся всем своим крестьянским, красным, топором выбитым лицом тракториста. «Нинуля, радость моя!»

На третий день в дешевом неоне сельской дискотеки замаячила чья-то тельняшка – ослепительно белые полосы. Тельняшка подскочила к S и восхищенно покачала головой на бычьей шее. «Нинка, – тельняшка оглянулась по сторонам, – Нинка, познакомь нас!» Тельняшка обняла S за лопатки – и они закружились под фальшивую сладкую песню десятилетней давности. «В тебе что-то есть», – шептала тельняшка. У него были толстые мягкие губы и глупые глаза, утопленные под широкими бровями. Они вышли под яркий свет фонаря – и S окончательно убедилась: это тот же материал, что и ее собственный, – толстый, грубый, дешевый, смуглый от солнца. «Как зовут тебя?» – «Дима». Тельняшечный накинул ей на плечи свою куртку – большая кожанка, теплый подклад. «Ниночек, я провожу твою подружку домой?» Нинка в расте-

рянности пожала плечами.

Они шли в обход, длинной дорогой, и ногам было мокро и холодно от росы. «В тебе что-то есть», – с напускной таинственностью повторял этот Дима. «Что же?» – наконец раздраженно спросила S. «Не знаю, – с еще бóльшим туманом ответил он. – Что-то».

Остановились в глубокой яме на дороге, под противным химическим светом чьей-то гаражной лампы. «Держи куртку», – буркнула S. Тельняшечник вдруг ухмыльнулся своим толстым ртом и притянул S к себе. «Ты что?» – она забила локтями. «Тише, а то бабку свою разбудишь. Один раз – тебе жалко, что ли?» Резиновые губы пружинили, неловко раздвигая рот S, напряженный влажный язык он пропихивал между ее зубов. S мотнула головой – он чуть отстранился, и вдруг припал к ее уху, кругами вылизывая раковину. S изо всех сил отпихнула его и побежала к калитке.

– Мы еще встретимся, крошка! – крикнул тельняшечник, усмехаясь.

И они встретились – и встречались теперь на каждой дискотеке, и после Дима провожал ее домой. О Богдане она почти не думала – ей было стыдно даже перед воспоминанием о нем за всё, за всё, что она тут делает, за мокрый язык и жирные губы, и толстую, прожаренную солнцем кожу Димы, и запах дешевого пива и почему-то вареной кури, вечно идущий у него изо рта.

Она вернулась в город – и в первый же вечер он позвонил

на домашний. «Поехали в центр? Я тоже тут». S обреченно вздохнула и принялась собираться: выудила из глубины шкафа старую юбку, босоножки на каблуке, красную майку – всё то, что не носила уже второй год и думала отнести на помойку.

К Дому офицеров подъехал его красный мопед, похожий на двухколесного муравья. У руля подпрыгивал сияющий Дима в серых шлепанцах. Пальцы ног у него были короткие и грязные, с полосками коричневого загара. «Ничего, что я в сланцах? – спросил он вместо приветствия. – Жарко очень». S обреченно залезла на заднее сиденье и обхватила его неприятно твердый живот. Свернули налево, поехали мимо спуска ко Дворцу, мимо церкви, мимо зарослей камыша к набережной. У зарослей плакучих ив, почти в болотце, он заглушил мотор. «Неплохой траходромчик», – заметил он. Он опять целовал ее, и опять от него пахло вареной курой, сильнее, чем прежде, – может быть, потому, что теперь ее не заглушал запах пива.

Потом он подъезжал к ее дому на своем драндулете, останавливался на углу и писал смс. Она выскальзывала из квартиры – «я к Лене!», шла вдоль побеленной стены по осыпавшейся штукатурке и кирпичам. Они заезжали на школьный двор, шли на «паучок» за трансформаторной будкой – маленький лабиринт из сваренных труб. Он всё пытался «показать ей» что-то своими толстыми губами, лапал за спину и зад, спускался к груди, которую S закрывала острыми локо-

точками. «Хватит, перестань». Дима устало вздыхал и сразу терял всякий интерес, торопился домой.

– Смотри-ка, – перечислял он, – я симпатичный, я неглупый, я занимаюсь спортом, я вот недавно бросил курить. Я еще работаю с пятнадцати лет! Знаешь, как меня отец заставлял работать?

– Не знаю, – S сонно качает головой.

– А-а-а! Он меня заставлял присесть двадцать раз, и только после этого давал лавэ. Поняла?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.